

# Андрей Дашков

## Человек со многими голосами

*Я просто путешественник во времени,  
который так упорно пытается  
заплатить за свое преступление.*

Группа «Uriah Heep», альбом «Demons and Wizards».

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### в которой тягач летает, пуп разговаривает, а Ролло являет себя Камню, предупрежденный о ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Стоя в сгущающихся сумерках и глядя на город, который темной громадой вырисовывался на горизонте, Ролло вспомнил фразу, впервые услышанную им от одного македонского генерала: «Если ты умираешь в Вавилоне, то навсегда». А тот в свою очередь услышал ее от бродячего монаха с Востока, причем сам монах, по словам генерала, сильно смахивал на мертвеца, что бы это ни значило. Генерал не пожелал объяснить подробнее (дело было перед битвой, в которой решалась судьба тогда еще маленького мира) и, по всей

видимости, не захотел изменить свою собственную судьбу.

Ролло сомневался, что кто-нибудь из жителей Камня сможет объяснить, почему надпись, высеченная на огромной гранитной плите у въезда в их город и гласившая «Если ты умираешь в Камне, то навсегда», не обещала странникам — всем и каждому в отдельности — ничего лучшего. Не исключено, что так здесь понимали гостеприимство. Ролло нигде не чувствовал себя гостем. Хозяином, впрочем, тоже — он вообще старался избегать опасных заблуждений. До сих пор ему это удавалось, если, конечно, он не заблуждался на предмет собственного существования. Но тогда утрачивало смысл и понятие опасности. Ох уж эти игры в прятки с самим собой. Поневоле втягиваешься, когда редко встречаешь достойных соперников. Однако надпись при въезде в город выглядела многообещающе. И в любом случае это было более чем внятное предупреждение.

Ролло внял.

Он накопил так много судеб, что порой ему казалось: еще шаг — и его погубит центробежная сила Колеса, разорвет на части, чтобы каждая в отдельности могла отправиться своей дорогой и в конце концов получить свое. При этом он испытывал почти непреодолимое искушение

поддаться, сделать необратимый шаг, проследить за каждой из своих теней, устремившихся в самостоятельное странствие, прочувствовать и осознать весь диапазон — от немедленной гибели до свидетельства угасания еще не родившихся солнц, — наблюдать за тем, как тени растут из одного корня, ветвятся, втягиваются в убийственные пространства, удлиняются, изгибаются в соответствии с рельефом мира, доставшегося им по случайному жребию, или меняют масть в зависимости от выпавших карт, а в конце концов сливаются с темнотой — и, может быть, там, в той плотоядной темноте, его и поджидало самое интересное. Ведь этого все равно не миновать, рано или поздно.

Но что-то удерживало его личность от распада, а линия интегрированной судьбы получилась настолько извилистой, что напоминала траекторию движения пьяного танцора. Недавно он завершил очередную замысловатую фигуру, незаметно переходившую в следующую. Дотанцевал до своего Вавилона? Он ухмыльнулся. Ну-ну, посмотрим.

\* \* \*

Отсутствие света в Камне. Какая прелесть. Не исключено, что это был город мертвых (и

возможно, они действительно умерли в соответствии с надписью, то есть навсегда). Ролло знал, что такое затемнение и что такое комендантский час. Затемнение означало войну. Комендантский час не обязательно означал войну, но уж точно плохие времена — впрочем, не для всех. Далеко не для всех. Ролло, случалось, хорошо жил в плохие времена. Правда, это было давно, и времена успели несколько раз перевернуться. Ролло безнадежно запутался и уже не понимал, в какую сторону течет песок в его часах.

Он шел по дороге, ведущей в город. Ногам его было тепло, а голове холодно, потому что голова плыла между звезд. Разговоры существ из иных миров пронизывали его череп подобно тончайшим звенящим струнам. Кожа — вся в уколах ледяного света — сделалась голубоватой, глаза напоминали зеркала телескопов, вбирающие прошлое, отодвинутое на световые годы.

Ролло расслоился. Но и это ему было не впервой. Он различал как минимум три слоя жизни: осадок, взвесь, чистая вода. Чтобы находиться во всех слоях одновременно, надо было обладать слепотой червя, фильтрующей способностью губки, скоростью марлина. Иногда у него получалось. Природа тщетно пыталась уловить Ролло в свои крупноячеистые сети — он неизменно ускользал, но это не могло продолжаться вечно.



Почти совсем стемнело, когда он подошел к городской стене, представлявшей собой вал из автобусов, грузовиков, карет, легковых автомобилей, трамваев и омнибусов, который достигал местами высоты в шесть-семь метров. Соответственно, толщина такой стены измерялась несколькими помятыми корпусами. Кое-кто не поленился, перетаскав десятки тонн железа и воздвигнув памятник ржавеющей роскоши, расплющенным иллюзиям, обездвиженной суете. Над всем этим витал старый бензиновый душок, к которому примешивались воображаемые ароматы лошадиного навоза. Ролло почти соскучился.

Он вобрал в себя первую попавшуюся кошку и стал смотреть ее глазами. Это была очень голодная старая кошка, что, впрочем, никак не повлияло на ее зрение.

Он увидел проход через автомобильное кладбище — извилистый и наверняка оборудованный ловушками. Вскоре он различил и тех, кого с некоторой натяжкой можно было назвать стражниками. Надо отдать им должное, они тоже засекли его появление. Он взял себе зрение, но не бесшумную крадучесть кошки, да и не очень-то пытался остаться незамеченным. Тем не менее он

мог бы легко убить стражников. Играючи. Однако там, где Ролло побывал, он переродился, не так ли? Из него вынули что-то, а когда положили на место, он стал другим. Это называлось *обращением*. Или, иными словами, игрой с ограничениями. Значит, больше никакого зла, никакого насилия, никаких смертей...

Двое сидели в одном из неплохо сохранившихся автомобилей, зажатом в нижнем ярусе этой гигантской свалки. Лицо каждого напоминало серую маску, перечеркнутую черной полосой. Это были темные очки.

— Стой где стоишь, — буркнул тот, который занимал место водителя.

Ролло не стал спрашивать, что случится, если он не послушается. Он уже ощутил едва заметное движение воздуха — нечто вроде вертикального ветра. Но это был не ветер. Подняв голову, он увидел над собой шестиосный тягач. Громадный силуэт заслонял звезды, словно темная пылевая туманность, и медленно покачивался. Было ясно, что эта штука ни на чем не подвешена.

— Стою, — сказал Ролло на их языке. Изображать смирение теперь было проще простого. Гораздо труднее замаскировать иронию. — Я всего лишь одинокий странник в поисках крыши над головой и куска хлеба.

— И каково же твое ремесло? — осведомился

первый стражник.

Поначалу Ролло имел намерение назваться уличным магом, но теперь стало ясно, что в Камне прежде надо осмотреться и, возможно, обзавестись помощником. Поэтому он осторожно ответил:

— Я предсказываю будущее.

Двое сидевших в машине расхохотались. Ролло не мог понять причину их веселья. Должно быть, за время пребывания в Лимбе он опять немного отстал от жизни. От чертовой современной жизни.

— Ну-ка, предскажи мне будущее, — потребовал первый стражник.

— Для этого я должен больше узнать о вас. Чем вы занимаетесь?

— Мы здесь для того, чтобы воспрепятствовать проникновению в город нежелательных элементов, — предельно четко, будто следуя букве некой инструкции, изложил стражник. — Можешь считать, что это наше призвание.

— А разве для этого не нужно быть зрячим? — осведомился Ролло, прикидываясь простачком.

— Мы *ночная* стража, кретин, — вмешался второй стражник.

В этом есть резон, решил Ролло. Глаза им не нужны, а вот слух, должно быть, острейший.

— Кто это — нежелательные элементы? — поинтересовался он.

— Разве ты надпись не читал? — Второй стражник безошибочно ткнул пальцем в том направлении, где находилась плита с предупреждением. — Или ты неграмотный?

Ролло начал кое о чем догадываться.

— Но я пока живой, — заметил он, на всякий случай приготовившись к тому, что стражники попытаются исправить столь вопиющее недоразумение.

— Это я и так чую, — сказал первый стражник. — Но какого дьявола ты шляешься ночью?

Ролло, которому город Камень уже нравился меньше из-за невежливых обитателей с их нагоняющим скуку формализмом и дурацким самомнением, порылся в своей странной многомерной памяти в поисках подходящего ответа.

— Моя тачка сдохла километрах в десяти отсюда. Пришлось топтать пешком.

— Ты хоть попрощался со своей тачкой как следует? — поинтересовался второй стражник.

— Да, я даже хотел ее похоронить, но потом решил, что это отнимет слишком много времени, — доверительно сообщил Ролло.

— Еще один долбаный шутник, —



сокрушенно пожаловался первый стражник, склонив голову, отчего казалось, что он разговаривает с собственным пупком.

И пупок ему ответил:

— Нет, он не шутник. Он гораздо хуже.

«Внутренний» голос оказался низким, хриплым, отвратительным; вдобавок запахло так, будто у кого-то из двоих слепцов (или у обоих) прорвало прямую кишку. При этом оба держали рты закрытыми.

Ролло не мог не почуять зловоние, потому что к тому моменту уже находился на заднем сиденье их автомобиля. «Молоту» в виде тягача понадобилось несколько больше времени, чтобы переместиться и зависнуть над «наковальней».

— Хороший ход, — одобрил первый стражник, не оборачиваясь. — Однако с чего ты взял, что мы не способны на самопожертвование?

— Да, — с некоторой обидой поддакнул второй. — Какого черта ты плохо о нас думаешь?

— Но тогда северный проход останется неохраняемым, не так ли? — осмелился предположить Ролло.

— Далеко пойдет, — сказал второй стражник первому.

— Ну, не дальше городского кладбища, — философски заметил тот.

— А какое у нас кладбище... м-м-м... —

мечтательно поведал второй стражник. — Пальчики оближешь.

— Несомненно, оно является главной здешней достопримечательностью, — убежденно сказал Ролло. — Первое, что я делаю в любом городе, это посещаю кладбище.

— Знаешь, а он мне нравится, — сообщил первый стражник своему пупку. — Мерзавец, конечно, но он мне нравится. Надо его пропустить. И послушать, что будет. Я бы дал ему две недели, не больше.

— Я бы сказал, что он продержится месяц, — пробулькал пупок.

— Хочешь пари?

— Принято.

Стражник ткнулся головой себе в пах, обладая, очевидно, изрядной гибкостью. Когда он выпрямил спину, Ролло увидел в зеркале, что на лбу у стражника осталась дымящаяся отметина. Кроме утробной вони, появился еще и запах жареного.

— Следи за тенью, торговец будущим, — посоветовал второй стражник. — Месяц — это тебе не шутки.

— Проходи, — разрешил первый стражник. — Сначала прямо. Потом свернешь. Осторожней на кладбище. Сегодня падают метеориты.

Напоследок Ролло обернулся:

— Вот тебе мое предсказание. Ты умрешь.

— Ха! Это я и так знаю. Ты что, мать твою, издеваешься?

— Если бы ты это знал, то не жил бы так, как живешь сейчас.

— Да кто такой, чтобы учить меня жить?!

— А я и не учу. Я всего лишь сделал тебе подарок, который не стоит и плевка. Поэтому он поистине бесценен.

— Катись ты со своим подарком куда подальше!

Ролло произнес голосом, позаимствованным в одном провинциальном театре:

— Запомни эту минуту. Однажды ты вспомнишь ее с дрожью ужаса. Ты скажешь себе: была ночь, когда я увидел весь мир в луче истины. Я мог его обрести, я мог себя изменить. Но я не сделал ни того, ни другого. Я выбрал тьму неведения, и холод одиночества, и судьбу изгнанника, и смерть без прощения.

## **ГЛАВА ВТОРАЯ**

**в которой симфонический оркестр  
играет садомазо-рок, Антихрист  
сокрушается о смешении языков, а  
крестоносец пытается избавиться от**

## воображения

«Soma-sema, soma-sema»<sup>1</sup>, — повторял он про себя, будто молитву или заклинание. Это помогало ему сохранять отстраненность, которая, в свою очередь, позволяла оставаться собой среди скотства и грязи. И даже, что еще труднее, в средоточии так называемой культуры. Слишком многое отвлекало его, настойчиво и назойливо вонзалось в глаза и уши, вползало внутрь с запахами, напоминало все то, о чем предпочтительнее забыть.

Не достигнув должной степени безразличия, он попытался хотя бы получить удовольствие от прекрасной музыки, но ему мешали вопли человека, которого пытали на дыбе. Слушать музыку и не слышать воплей было трудно — экзекуция происходила, как и положено, всего в нескольких шагах от первой скрипки симфонического оркестра. Палач орудовал раскаленным прутом с не меньшим изяществом, чем дирижер — своей палочкой.

Крестonosец поймал себя на том, что, отделяя красоту от зверства и безнадежно сопротивляясь их слиянию, он занимается противоестественным делом, ведь в подобных местах пытка считалась обязательным номером двухчасового

---

<sup>1</sup> Soma-sema (греч.) — Тело-могила.

представления. Хор, оперные солисты, оркестр, рок-группа и жертва — синтетическое искусство во всей полноте. Так его и воспринимало подавляющее большинство. Холуи барона были в экстазе. Крестonosец не первый раз замечал, что самыми восторженными слушателями обычно являлись те, кто очень скоро мог стать следующей жертвой.

Концерт действительно получился впечатляющим. Там и тут в полумраке огромного зала вспыхивали блики на лакированном дереве и металлических частях инструментов и пюпитров, мерцали струны, сияли белки и зубы музыкантов, драгоценности аристократов; от сцены тянуло жареным мясом, дымом березовых поленьев, кровью и паленым волосом; на верхних ярусах темным зверем притаилась толпа простолюдинов; огромные тени, казалось, существовали сами по себе. Зал отличался великолепной акустикой. Старая, величественная, тяжелая и жестокая музыка индустриальных времен звучала во всей своей красе и мощи. Музыка из прошлого, но одновременно в ней было и предощущение будущего, сочетание кровавого Средневековья с утонченной порочностью высокоразвитой цивилизации. В ней также неуловимым образом соединились благородство и низменные страсти, возвышенное и греховное, земное и уводящее к

нечеловеческому совершенству. И мучения жертвы навязчиво напоминали о том, что плоть неминуемо вернется во прах, тело обречено на страдания, старость (это в лучшем случае) и смерть. Soma-sema. Но крестоносец не знал никого, кто спешил бы по доброй воле освободить свою предполагаемую душу.

Как почетный гость, он сидел по правую сторону от барона. И то, что их кресла разделяла «санитарная» зона шириной в три метра, не имело значения. Редко кто приближался к крестоносцу на расстояние вытянутой руки, еще меньше находилось желающих прикоснуться к нему. Разумеется, речь не идет о тех случаях, когда он сам вступал в контакт. Он был отверженным, обреченным на одиночество, и мир ежеминутно напоминал ему об этом. Он испытывал на себе беззгливость со стороны трусости и низости, воспринимая ее с непростительным для падших высокомерием. Такова была плата за страх, который он внушал. И очень возможно, что когда-нибудь придется заплатить еще дороже.

Но крестоносца не останавливали и более определенные угрозы. Soma-sema... Он кожей ощущал разлитую в воздухе напряженность. Барону было не до музыки и даже не до садистских удовольствий. Он был не на шутку озабочен. Барон не знал, зачем в его городе появился крестоносец.

Кое-кому из новых феодалов в подобных случаях казалось, что самый простой выход — убрать незваного гостя, затем убрать убийцу, сжечь оба тела и ждать последствий. Этот барон оказался умнее.

К началу второго часа крестоносцу изрядно надоели забавы развращенных аристократов. Впрочем, забавы черни были еще скучнее. Он предпочел бы получить от барона женщину — в качестве взятки или, если угодно, подарка. Не то чтобы он так уж сильно нуждался в обществе жалких созданий со щелью между ног, но природа брала свое. Три месяца в пути, три месяца без самки. Холодные ночи, холодное одиночество, холодное сияние лун, черный лед в груди, свинцовая тяжесть в яйцах...

С чем он не расставался, так это с оружием. Оно направляло мысли в определенную колею, помогало сосредоточиться на главном и не беспокоиться по пустякам. Днем и ночью оно шептало о смерти; под этот шепот он спал, просыпался, шел и пытался почувствовать себя живым. Пытался жить. Жить получалось не очень. Возможно, он еще не пришел туда, куда нужно.

Барон искоса поглядывал на него — интересовался, нравится ли ему происходящее. Крестоносец дослушал до конца арию Антихриста из «Карнавала в Вавилоне», затем молча встал и

направился к выходу. Это была одна из его привилегий: он мог позволить себе плевать на этикет и прочие условности.

Телохранители барона отреагировали, как только гость шевельнулся, — но медленно, слишком медленно. При желании крестоносец успел бы свернуть барону его мощную шею любителя пива так, что бритый загривок оказался бы над узлом шелкового галстука, а потом расстрелять шестерых зажавшихся горилл, которых здесь, очевидно, считали надежной охраной.

Он представил себе это — и в каком-то измерении его воображения это свершилось. Будто сон, который не сбывается, пока не досмотришь до конца. В том промелькнувшем сне какая-то часть крестоносца, его неплотской сущности, двинулась в неизведанное будущее по другому пути. Он расстался с этой частью без сожаления и без любопытства — словно, выйдя на свет, лишился тени. Пытаясь жить, он непрерывно растрачивал себя.

Картинка получалась страшноватая: в ветвящемся лабиринте вероятностей бродили тысячи крестоносцев — призрачные двойники, расставшиеся с одним и тем же человеком на протяжении многих лет. Бродили без надежды когда-либо снова слиться в единое целое, вернуться



домой. То ли разбежавшееся стадо, то ли потерявшиеся дети. И отсюда было совсем близко до мысли, что все, кого он видит, — лишь заблудшие тени Бога...

В фойе театра музыка звучала приглушенно. Какой-то подслеповатый старик шарахнулся от крестоносца, разглядев кресты только тогда, когда лицо встречного оказалось в круге света. Вооруженные люди барона взглядами провожали опасного гостя. Псы следили за волком, который пока не вырвал ни одной глотки и не начал резать овец. Может быть, все и обойдется, но неопределенность действовала им на нервы. Еще бы.

Он покинул здание, открыв тяжелую стеклянную дверь, из которой получилась бы отличная крышка прозрачного саркофага для забальзамированного Отца Террора. Раз в три года крестоносец совершал паломничество к его гробу. Он подолгу вглядывался в навеки застывшее лицо мертвеца, пытаясь понять, есть ли связь между невзрачной внешностью и чудовищными деяниями, или вся физиогномика — ложь, такая же произвольная, как толкование сновидений. Отец Террора, лишенный возможности сгнить после смерти и кануть в забвение, демонстрировал, что судьба не чуждается злой иронии: людишки, которых он топтал и уничтожал миллионами,

все-таки по-своему распорядились его мешком с костями, превратив напоследок в идолище.

Площадь перед театром была забита машинами, среди них выделялся шикарный бронированный лимузин барона. Поодаль выстроились таксисты. Вот уж кто не обращал внимания на клейма. За соответствующее количество монет любой неприкасаемый мог стать их пассажиром, а за двойную плату они согласились бы катать самоубийцу по гетто для прокаженных. Чем беднее человек, тем меньше у него предрассудков — это правило срабатывало почти всегда, за редкими исключениями.

Проходя мимо таксистов, крестonosец услышал с десятков предложений, которые, возможно, показались бы заманчивыми кому-нибудь другому, — гостиницы, девочки, трактиры, марафет... Произнесенные вполголоса слова, без эмоций, без эха и без ответа. Крестonosец не обернулся. И никто не шептал ему вслед. Никто не пытался навязать свои услуги. На стоянке такси было почти темно, но эти люди безошибочно чуяли чужака.

Он получил представление о названиях здешних зланных мест — они не отличались оригинальностью. Ехать ему было некуда. А передвигаться по городу, расставляя сеть, он предпочитал пешком. Как говорил когда-то один

старый крестоносец, ушедший на покой живым, доставить женщине удовольствие можно и огурцом, но если хочешь, чтобы она понесла, надо воткнуть в нее собственный хрен. Да еще и кончить.

Он свернул на совсем темную улицу. Даже в гулком ущелье среди каменных стен он двигался почти бесшумно. Наступило новолуние — его лучшее время. Звезды были, как всегда, прекрасны. Несмотря на то что ему предстояла бессонная ночь, крестоносец совершил ежевечерний ритуал, который пропускал лишь в исключительных случаях. Остановившись в подворотне, он достал свиток Нечистой Бумаги, зажигалку и карандаш. Ненадолго задумался, стараясь покороче сформулировать то, что должно быть унесено ветром. Затем посветил себе зажигалкой и написал на клочке бумаги слово «воображение». Поджег обрывок и развеял пепел.

Он вышел из подворотни и замер. Снова слился с тенями. Сделался тише мертвеца.

Барон послал за ним топтуна. Крестоносец удивился бы, если бы хозяин города поступил иначе. Хороший, опытный топтун знал свое дело. И все же для него стало неожиданностью, что преследуемый оказался на десяток метров в стороне от того места, где ему полагалось находиться.

На протяжении нескольких секунд топтун висел между жизнью и смертью. Повезло — выпала

жизнь, хотя кое-чем пришлось поступиться. Крестonosец почувал женщину. Сорвал у нее с головы капюшон. Ему тоже повезло — сучка попалась смазливенькая. И обошлась совсем недорого. Можно сказать, даром.

Он отобрал у нее смехотворное оружие и развернул лицом к стене. Заставил наклониться, задрал юбку, разорвал тонкие трусики. Она была сухая в промежности и слишком напряжена от страха, но он и не собирался удовлетворять ее.

Сотню одиноких ночей он спрессовал в три минуты. Ему пришлось довольствоваться суррогатом, да и само его желание тоже было суррогатом — не такая уж редкость в мире тотальной фальши и подделки. Но все-таки фальшь лучше, чем безумие.

Ни теплой постели, ни ласки, ни хотя бы слитного дыхания. Оргазм — как удар черной волны. Больше думаешь о том, чтобы устоять. Безрадостное облегчение. Сучка испытала только боль, однако не издала ни звука, даже не понадобилось предупреждение. Потом он вырубил ее безжалостным ударом в голову и оттащил за ворота, чтобы не попала под колеса или копыта. Теперь она вызывала у него отвращение. На ее ляжках высыхала его сперма, которой могло бы найтись лучшее применение.

Трата жизненной силы была незначительна.

Крестonosец восполнил ее в ближайшем энергетическом узле и двинулся дальше неслышной походкой привидения.

## **ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

### **в которой нет метеоритов, есть эпитафии, а Ролло проходит сквозь двери**

Ролло не обманул стражников. Он действительно разыскал кладбище. Это не заняло много времени — у него был нюх на такие места. И вульгарный запахок мертвечины тут ни при чем. Он имел дело с действительно тонкими материями и ароматами.

В лунном свете городское кладбище выглядело волшебно. В этом смысле стражники не обманули Ролло. А насчет метеоритов они, конечно, пошутили. И это называлось юмором. В самый раз для короткоживущих созданий. Чем им еще утешаться в своей эфемерности?

Ролло долго бродил по кладбищу, наслаждаясь здешним покоем, пейзажем и остроумием авторов некоторых эпитафий. И вот он набрел на внушительного вида склеп, отличный от большинства прочих — безыскусных и недолговечных. Работу мастера он узнавал сразу.

Над дверью строения было высечено: «Остуди мой пыл, холодная любовь».

Приглядевшись, Ролло заметил, что к двери склепа протоптана тропа, что свидетельствовало о частых посещениях. Сюда приходили раз в год, никак не реже. Но уходили ли?

Сквозь щель под дверью пробивался тусклый голубоватый свет. Ролло решил заглянуть на огонек. Тем более что земля на непустых могилах зашевелилась.

Дверь склепа оказалась заперта изнутри. Но не для Ролло. Преодолеть двенадцать сантиметров хромованадиевой стали ему было легче, чем назвать по имени последнюю любовницу. «Любовницу»! Он смаковал слово, пока воссоздавал телесные ощущения, подменяя легчайшие поцелуи лунного света полузабытой и куда более жадной страстью. Тьма Господня, как же давно это было!..

Очувтившись там, где его не ждали, Ролло улыбнулся широко и радостно. Подумать только, прошло всего несколько часов, а он уже нашел себе помощника. И, судя по виду, смышленного.

## **ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ**

**в которой Камень рассказывает о себе, а крестоносец слушает и**

## фильтрует

Крестonosец следовал одному из своих старых правил: если хочешь узнать город, ходи по нему ночью, когда смолкает шум и слышен шепот.

Город — нечто большее, чем скопление построек, в которых едят, спят, совокупляются, работают, шевелят мозгами и узнают друг о друге то, чего лучше было бы не знать. Город — это место, где тысячи и десятки тысяч ежесекундно приносят в жертву свои жизни. Такое место не может не внушать уважения. Это одновременно некрополь и гигантская колыбель. Колыбель для тех, кто останется здесь до самой смерти и будет жить, не решаясь перерезать пуповину. Хлев для домашних животных, где иногда случаются дикие вещи.

Крестonosец пришел сюда в поисках диких вещей. Таков был его крест. Кроме, конечно, тех двух, что выжжены на его щеках. Клейма превосходства. Клейма отверженности. Впрочем, последние лет двадцать он почти не думал об этом. Ключки Нечистой Бумаги со словами «сожаление» и «тоска» давно стали пеплом на ветру. Его воображение потускнело, как старая монета, но все еще не было убито. Обращенное в пепел, уносимое ветром, оно возвращалось снова и снова, как возвращается и сам ветер — всегда другой и всегда

тот же.

Крестonosец бесшумно двигался, впитывая миазмы города. Он различал миллионы оттенков тьмы, сотни разновидностей тишины, долгое эхо молчания. Улицы были щупальцами пустоты, протянувшимися сквозь Камень. В каждом закоулке притаился шепот. Город рассказывал все, открывая подноготную тому, кто мог и хотел услышать. Рассказывал о целых поколениях, так и не дождавшихся награды за свое долготерпение. О надеждах молодых, которые разбивались где-то между испарившейся любовью и скучной зрелостью. О сожалениях стариков, подслеповато вглядывавшихся в прожитую неизменность. О том, что во все времена обнаженное существование остается болезненной бессмыслицей. О том, как приходят в этот мир голыми и слепыми и орут при пересадке, а уходят запеленутыми в саваны, с защитными ртами и монетами на глазах...

Город иногда обманывал. Заводил в тупик отчаяния. Крестonosец умел отличать правду от лжи.

Камень был огромен. Слишком огромен, чтобы управиться с мелкоячеистой сетью за одну ночь. Тут не хватило бы и недели, но крестonosец никуда не спешил. Впереди у него была бездна вечности и даже кое-что потом, вроде призовой игры.



Барон сообщил ему, что, согласно последней переписи, в городе проживает около восьми миллионов человек. Крестonosца это не огорчило и не обрадовало. Небольших изолированных поселений не осталось вовсе. Наступили времена невиданной концентрации рабочей силы. Одни закрытые города лежали в руинах, другие процветали. Почему это так, не знали даже советники новых феодалов по экономике, не говоря уже о крестonosцах.

## **ГЛАВА ПЯТАЯ**

### **в которой Ролло охмуряет вдову, юное создание обзаводится подходящим именем, а старый патефон получает новую жизнь**

Ролло поселился у вдовы галантерейщика. Поначалу они сошлись на десяти монетах в неделю, и новый постоялец занял комнату на втором этаже, в которой до него проживал убитый на дуэли вояка. Ролло это нисколько не смущало и даже немного забавляло. От вояки осталось кое-какое барахлишко — именной «маузер», компакт-диски с записями грегорианских хоралов, набор порнографических открыток, бронежилет и джинсовые шорты с вышитым на заднем кармане мальтийским крестом.

Вдову звали Константа. Вопреки своему имени, постоянством она не отличалась, и утешители проходили через ее спальню почти непрерывной чередой, пока Ролло не оказался в слишком большой даже для двоих кровати. Поскольку он как никто другой умел не только утешать, но и ублажать вдов — а это, согласитесь, совсем другой уровень вдовьих ощущений, — все остальные любовники вскоре получили отставку. Еще через несколько дней (вернее, ночей) вдова сочла, что десять монет — это такой пустяк в сравнении с оргазмами, которые ей прежде и не снились.

Такая уж была у Ролло судьба — он выдвигался на любом поприще. Все, что он ни делал, он делал хорошо. Неординарность была запечатлена в каждой черточке его подвижного смуглого лица. В нем сочетались ум, хитрость и обаяние, а где-то позади всего этого притаилась сила, которая цементировала портрет и не давала ни чувственности, ни рассудку развести хозяина по путям безудержных наслаждений или иссушающего аскетизма.

Правда, был еще мальчик. Поначалу вдова выразила недоумение по поводу приведенного Ролло мальчика, однако затем смирилась с его присутствием. Тем более что мальчик помогал ей по хозяйству не хуже любой служанки, да и

обликом своим был просто загляденье: гладенький, бледненький, без единой кровиночки, такой славненький, что сошел бы и за девочку. Хрупкий на вид, ни дать ни взять — хрустальный Нарцисс в отрочестве, но без малейшего самолюбования. Напротив, к зеркалам мальчик питал необъяснимое отвращение и даже боязнь.

А вообще-то он был спокойный и послушный. Очень уж лакомый кусочек. Некоторое время Ролло колебался, не приобщить ли и мальчика к своим постельным забавам (вдову, склонную к рискованным экспериментам, вряд ли пришлось бы долго уговаривать), но затем вспомнил о своем нравственном преображении. Никаких противоестественных связей, только естественные. Гм.

Раздвоение, а то и растроение собственных влечений заставило Ролло как следует поразмыслить о природе Греха с большой буквы. Чем дольше он размышлял, тем сильнее убеждался: дробление — это и есть грех. Лишь в целостности обретаем подлинную свободу, чистоту и мир. Не то чтобы Ролло предавался жалкой рефлексии — сам факт фиксации сознания на определенных вещах был симптомом совести, а это уже явно лишнее приобретение.

Когда вдова поинтересовалась, откуда взялся мальчик, Ролло был вынужден с болью в сердце

обмануть женщину. Не мог же он, в самом деле, сказать ей, где нашел мальчика! Он опасался, что подобное откровение непоправимо испортило бы их безмятежные отношения. Пришлось сочинить басню о безымянном сироте, которого Ролло во время своих странствий подобрал у запертых ворот монастыря госпитальеров (ох уж эти монахи!). Ролло украсил повествование такими правдоподобными и живописными штришками, что на секунду и сам явственно представил себе это: темная неприветливая громада монастыря, проливной дождь, собачий холод, вселенская тоска и, в довершение картины, — комок безнадежности у немых ворот, который лишь случайно попадает в свет фар проезжающего мимо автомобиля. Ролло останавливается и вылезает из теплого уютного салона под мерзкий дождь. Ледяные капли стучат по черному плащу, собираются в струйки, стекая с полей шляпы. А в машине у Ролло есть плед, еда и горячий кофе в термосе...

Кто хотя бы раз не примерял на себя нимб Спасителя? Во всяком случае, Ролло был чрезвычайно убедителен. Вдова пустила слезу умиления и не пожалела для «бедного сиротки» лишнего пирожка.

Что же до имени, то Ролло назвал мальчика Каналем. Сделал он это не без задней мысли — если бы понадобилось выдать его за девочку,

Каналь легко трансформировался в Каналью. Для уличного балагана такой персонаж был неоценимой находкой. Оставалось только завязать ему платок на шее, чтобы прикрыть шрам от струны, и предупредить мальчишку, чтобы держал пасть на замке. Впрочем, Каналь и так не отличался разговорчивостью. Тот зловещий и почти нечленораздельный шорох, который иногда исходил из его искаленной глотки, Ролло понимал без труда. Константа первое время пугалась, а потом привыкла.

Они зажили внешне как полноценная семейка. В гараже у вдовы стоял старый пикап галантерейщика. С любой техникой Ролло был на «ты», и руки у него росли откуда надо. Он быстренько приспособил пикап для своих нужд и размалевал его кузов, не поскупившись на богатства палитры: сказочные животные на фоне психоделического буйства красок.

Ролло также починил патефон вдовы, чем окончательно покорила ее сердце — на корпусе патефона имелась бронзовая табличка с выгравированной надписью: «Любимой Константе в день свадьбы от Данте». Ролло не стал уточнять, кем был этот Данте. Во всяком случае, галантерейщика звали иначе.

В лавке старьевщика Ролло за бесценок приобрел целую пачку пластинок времен своей

третьей — условно, конечно, — молодости. Музыка должна была стать неотъемлемой частью его шоу.

По удачному стечению обстоятельств (хотя Ролло считал, что удача сопутствует достойным), вещи и обувь галантерейщика оказались ему впору, так что не пришлось тратиться на барахлишко. Как ни странно, галантерейщик, мир его праху, обладал отменным вкусом, удовлетворившим даже привередливого Ролло. И уж конечно, у Ролло не было предрассудков относительно ношения одежды покойника. Того, кто неоднократно примерял чужую плоть, чужие костюмы не стесняли ни в малейшей степени.

Ролло особенно нравились изделия из кожи. Сочетание кожи и матовых поверхностей металла — это была фирменная черта его стиля. Наличие стиля означало способность инстинктивно улавливать гармонию и многое извиняло в грубоватых или примитивных натурах. Впрочем, он не относил себя ни к тем, ни к другим. Даже в менее жестокие времена он не задавался вопросом, с кого содрана кожа. Однажды кожу сдирали с него самого. Причем живьем. Может, поэтому теперь он был готов на все, лишь бы не чувствовать себя до такой степени голым.

## **ГЛАВА ШЕСТАЯ**

### **в которой бывший крестоносец**

## торгует информацией, а «почтовый ящик» делится ею бесплатно

Даже в самых богатых городах количество нищих, калек, психопатов и самоубийц не уменьшалось, а наоборот, увеличивалось с каждым годом. Со временем скверна разрасталась свыше всяких терпимых пределов, и рано или поздно новые феодалы оказывались перед выбором: дальнейшая деградация или очищение кровью и огнем.

В прошлом Камень тоже не избежал подобных оздоровительных процедур кровопускания, но сейчас находился в ранней стадии болезни.

\* \* \*

Нищий лежал под церковным забором и был похож на груды тряпья. Когда крестоносец оказался в трех шагах от него, из груды протянулась рука и донеслось бормотание:

— Крест, подай брату...

Светили только звезды. Крестоносцу надо было нагнуться, чтобы разглядеть лицо нищего. Он действительно увидел кресты на щеках. Нищий зашевелился, и стало ясно, что у него нет обеих ног.

— Чего смотришь, брат? Когда-нибудь сам

таким станешь.

Крестоносец ничего не почувствовал. Кто захочет знать свое будущее? Хотя, если перед ним один из возможных вариантов, к нему стоило присмотреться внимательнее. И он смотрел, пытаясь представить, каково это — сделаться безногим инвалидом и быть выброшенным на покой после долгого пути, полного страданий и лишений. Такой «покой», пожалуй, можно счесть издевательством более жестоким, чем предшествовавшая служба. Ну а разве кто-то обещал благодарность? И разве кто-нибудь ее ждал?

— Ладно, — сказал калека после долгого молчания. — Позволь мне заработать монету. Спроси у меня о чем-нибудь.

Крестоносец был уверен, что нищий давно лишился своего оружия. Впрочем, покончить с собой можно и при помощи подручных средств. Но почему он до сих пор не сдох от голода?

Не дождавшись вопроса, калека выложил свой товар:

— Кажется, я знаю, что тебе нужно. Странные вещи еще случаются, верно? В мое время их было больше... Как насчет младенца без ушей?

Крестоносец покачал головой. Не то.

— Двухголовая собака?

Мимо.



— Говорящее радио?

Снова мимо.

— Шесть самоубийств в один день?

— Где?

— Гони монету.

Крабья клешня схватила металлический диск еще до того, как стихло эхо.

— В Квартале Теней.

Крестоносец двинулся в прежнем направлении. Он всегда продолжал с того места, на котором его прервали. Внутренний порядок хоть в какой-то степени противостоял окружающему хаосу и абсурду.

— Спасибо, брат, — проворчал ему вслед калека, тщетно пытаясь согреть в ладони ледяную монету. Это была монета *оттуда*, и потому она имела двойную ценность. Слезы покатались по щекам нищего, омывая кресты. У него не хватило духу попросить о большем — о последней услуге, которую он принял бы только от другого крестоносца...

Кстати, этот был третьим на его памяти — двое навеки остались в Камне. Возможно, ждать следующего придется долго, очень долго. И, скорее всего, калека продаст ему то же самое. Лежалый товар, на который не находится других покупателей. Неужели он сам когда-то был таким — рыскал в поисках специфического зла, готовый к

любим жертвам и принося жертвы с абсолютной безжалостностью ко всем, не исключая и себя? Уж лучше сдохнуть под забором. Но не сегодня. Благодаря монете он протянет еще пару ночей. Он пополз туда, где можно было обменять презренный и драгоценный металл крестоносцев на тепло, свет и горькое утешение.

\* \* \*

На безлюдной улице, носившей название Лунный бульвар, крестоносец обнаружил «почтовый ящик». Это был почти совершенный тайник — невидимый, неуничтожимый и недоступный ни для кого, кроме клейменных. Сейф, вырезанный из пространства и смещенный в область искаженного восприятия. Крестоносец нечасто имел дело с подобными штуками и всякий раз ощущал одно и то же. Очень отдаленно это напоминало прикосновение: будто чей-то ноготь скреб его по спине между лопатками.

Крестоносец остановился. Было бы глупостью игнорировать оставленное кем-то из братьев послание. Правда, ему приходилось слышать об изощренных ловушках, применяемых Черными Ангелами, — ложные «ящики» в лучшем случае выборочно стирали память, а в худшем убивали разум. Но разве старость не делает с человеком то

же самое?

Над Лунным бульваром в ту ночь не было луны. Тьма текла подобно черной реке, впадающей в океан отчаяния. В ней иногда попадались утопленники, которых поток выносил затем к берегам дней. От субъективного величия сомнамбулизма и кошмаров — к жалкому погребению. Крестоносец слишком хорошо знал, что такое кошмары. Редкий сон обходился без них. И не было противоядия для подавления того, что гнездилось в подсознании и отравляло существование. А когда крестоносец сунул голову в «ящик», чтобы извлечь информацию, он познал кошмары брата, побывавшего в Камне задолго до него.

Он испытал что-то вроде мощного ментального удара. Слепок прошлого, отпечатавшийся в мозгу, был, несомненно, полезен, ибо содержал сведения о планировке Камня и о том, что представляет собой каждая из его частей. Но, кроме положительного практического знания, он вобрал в себя сгусток страха, тайн, невнятных угроз и предсмертной боли. То, что хранилось в «ящике», нельзя было разделить на явь и галлюцинации, поэтому крестоносец оказался в трудном положении: фильм из чужой жизни, который он просмотрел за долю секунды и который стал частью его самого, напоминал отчет об аварии

с многочисленными жертвами, случившейся на перекрестке реальности и сновидений.

Так он узнал, кому принадлежала старая сеть, остатки которой витали на окраинах Камня — зыбкие свидетельства поражения его предшественника. Не исключено, что ему уготована та же участь. Поэтому он оставил в «ящике» сообщение для братьев, что придут следом, и отправился дальше своей извилистой дорогой, опутывая сетью город, мнимый покой которого не мог ввести в заблуждение никого из преследующих и никого из преследуемых.

## **ГЛАВА СЕДЬМАЯ**

**в которой все идет своим чередом,  
население приобщается к искусству,  
а Ролло занят своим хобби и роняет  
зерна**

Месяц — что соответствовало более оптимистичному прогнозу одного из слепых стражников — давно прошел, а Ролло до сих пор не столкнулся ни с чем таким, к чему не был бы готов. Камень, по его мнению, — город как город, ничем не хуже и не лучше многих других. Тут можно сносно существовать, а на большее Ролло пока не замахивается.

Камень огромен, и Ролло надеется, что любопытства здешних обывателей ему хватит надолго. Он устраивает представления всякий раз на новом месте. Выбирает площадь, сквер или просто достаточно широкую улицу, паркует пикап, расставляет нехитрые декорации и готовит реквизит. Каналь, наряженный то восточным принцем, то цыганкой, то пиратом, то монахом, то Смертью (многообразие персонажей неисчерпаемо, как фантазия Ролло и запасы барахла в лавке старьевщика), с успехом заменяет афишу. Он ведет себя в соответствии с заранее отрепетированной ролью, а его тихий шипящий голос лишь подогревает интерес. Даже торговки и тупицы замолкают, пытаясь расслышать, о чем там шепчет странное создание, похожее на экзотическую птичку, залетевшую в Камень прямым из легенд и сказок, по большей части страшноватых.

Кроме того, хозяин балаганчика тщательно подбирает музыку. Привлечь внимание обывателя не трудно — средний человечиска отчаянно скучает, — труднее удержать его внимание в течение некоторого времени и убедить расстаться с денежками. Это уже дело Ролло, и по части вытряхивания монет из чужих карманов он мастер каких мало.

Порой он настолько входит во вкус, что ему приходится ограничивать себя, чтобы не натворить

лишнего. «Лишнее» — это все связанное с магией, запрещенной так называемым Боунсвилльским Протоколом. Когда-то Ролло изучил Протокол от первой буквы до последней завитушки в последней подписи. Он отлично понимает, что двигало теми, кто собрался в Боунсвилле, городе собирателей костей, чтобы составить и подписать знаменитый документ, но от этого не легче — ему предлагается играть колодой, в которой отсутствуют старшие козыри, или пикивать на скрипочке с одной струной вместо четырех, или оперировать кухонным ножом... и так далее.

Само собой, в Протоколе, как в любом законе, имеются дырки, и Ролло иногда этим пользуется, чтобы ублажить себя. Ублажая других, приходится считаться с вероятностью доноса. Правда, уровень обычного потребителя зрелищ не внушает опасений, но Ролло предпочитает не рисковать. Его балаганчик и так вызывает немалый интерес. Некоторые лица он видит по несколько раз на неделе и тогда начинает намеренно повторяться, чтобы отбить у поклонников охоту приходить снова — постоянные зрители ему не нужны. Это противоречит самой идее уличного представления. Тут все мимолетно, однократно, зыбко; маленькое чудо сразу же превращается в воспоминание. В чем прелесть воспоминаний? В том, что ничего нельзя вернуть и повторить — ни Ту Самую Минуту, ни

Тот Поцелуй, ни Тот Цветущий Сад, ни Того Человека, ни даже тогдашнего себя.

Ролло не какой-нибудь дешевый трюкач в поисках легкой наживы. Он вкладывает в свое искусство свои обновленные души. При желании в каждом его номере может найти пищу для размышлений философ, психоаналитик, богослов, восторженный юноша или умудренный жизненным опытом меланхолик. А Каналь будто создан для того, чтобы играть в театре абсурда. Плачет и смеется он только по приказу хозяина; ему не нужны маски — если Ролло и гримирует его, то самую малость.

Так за днями проходят дни, проходит время, которое и должно проходить, течь, бежать, тянуться, лететь — и только иногда, очень редко, останавливаться. Капризная это штука — время. Ролло знает, как трудно приспособиться к его непостоянству. Скорость течения времени в Камне его устраивает — пока. Но понимает он и то, что период относительного благополучия рано или поздно закончится. И если он готов к этому, значит, судьбе больше нечего у него отнять.

\* \* \*

Однажды он дает представление в Квартале Теней. Ролло наслышан об этом месте и не

случайно оказывается здесь со своим раскрашенным пикапом.

К тому времени он уже успел войти во вкус — роль творца в миниатюре ему весьма импонирует и при этом почти ни к чему не обязывает. Он не агрессивен, но и не хочет, чтобы его тревожили. Он никогда больше не нападет первым, но и не позволит себе остаться беззащитным. Он уже не охотник, но ни в коем случае не жертва. Даже в изгнании он жаждет покоя, и раз уж обрел временное пристанище, то готов на многое ради сохранения status quo.

Создавать двойников — его старое хобби, в котором он достиг совершенства. Это многократно спасало его от лишних утомительных хлопот и на какой-то срок избавляло от преследования со стороны крестоносцев. И, поскольку абсолютный покой для него немислим, он довольствуется более или менее продолжительными передышками. За любой Дверью он использует двойников. Тонкое и малоизвестное искусство множить свой тайный образ не имеет ничего общего с вульгарным приданием внешнего сходства. Среди двойников, оставленных Ролло в разных мирах, — мужчины и женщины разных возрастов и рас, иногда даже дети. К его сожалению, большинство из них попадает в расставленные сети — от проклятых крестоносцев поблажек ждать не приходится, — но



некоторым все же удается ускользнуть. То, что кое-где их объявляют одержимыми и поступают с ними как с дикими зверьми, его не удивляет — фанатиков хватает везде, в мире нет ни терпимости, ни гармонии. Сложность его игры возрастает пропорционально количеству фигур, и потому он часто выигрывает партии, хотя и знает, что окончательной победы ему не видать. Он создает двойников снова и снова, иногда чувствуя себя матерью и отцом одновременно. Наделяет их голосами и, как ни странно, помнит именно голоса. В любой момент он может заговорить или запеть голосом давно уже казненного двойника, услышать эхо то ли своих, то ли чужих слов, и для него оно звучит едва ли не лучшей музыкой.

Очувтившись в Квартале Теней, Ролло уже через минуту понимает, что не зря тащился сюда через весь город. В здешнем воздухе разлито *нечто*. Зритель — тот, что еще обременен плотью, — тут довольно специфический. В основном это изгои всех мастей, деклассированный элемент, аристократы духа, непризнанные гении, последовательницы Сапфо, диссиденты, декаденты, доморощенные маги, которым ничего не светит, но зато ничего и не грозит, потому что они понятия не имеют о подлинных опасениях тех, кто подписал Протокол в Боунсвилле. Самый распространенный здесь диагноз — мания величия, хватает также

всевозможных фобий. Среди прочих пороков и уязвимостей — почти поголовная грамотность, фрустрация и непреходящий экзистенциальный страх.

Ролло понимает, что нынче же его семена падут на благодатную почву. Самозапрет на убийства несколько стесняет его в средствах и методах действия, однако кто сказал, что намекнуть на бесцельность дальнейшего существования есть преступление? Ролло делает это максимально тактичным образом. Поставленный им и гениально исполненный Каналем моноспектакль имеет невероятный успех. Настолько оглушительный, что по завершении воцаряется гробовая тишина. Она длится, длится и длится... Ролло кажется, что даже потрясенные тени застыли в оцепенении и больше не убегают от умирающего кровавого солнца. Закат мира, так прекрасно разыгранный в балаганчике Ролло, застает их врасплох. Они думали, что у них еще есть время, но времени нет ни у кого.

В такой же зловещей и торжественной тишине Ролло свинчивает декорации и удаляется медленно и с достоинством, сопровождаемый молчаливым бледным мальчиком. Черный шелковый цилиндр для сбора средств пуст. Деньги на этот раз не имеют значения. Наградой мастеру послужит будущий урожай.

Ролло возвращается в дом вдовы и мирно

ужинает с нею. Затем предается любви, трижды оседлав свою волооковую газель. Удовлетворенная вдова засыпает; он ждет. Прислушивается к голосам ночных птиц. Наконец идет в сад, открывает неприметную калитку, ведущую в переулок. Встречает безмолвных гостей. Они приходят из тьмы и некоторое время спустя уходят во тьму; он вдыхает в них частицу новой жизни. Они уже никогда не будут прежними — осколки разбитого зеркала Ролло. В каждом — его неполное отражение, мазок его кисти, запах его сердца, его проглоченное дыхание, один из его голосов...

К исходу ночи число его двойников достигает шести. Он отправляет их во все стороны, словно письма с несуществующими обратными адресами. Так многоликий Ролло заново осваивает Камень.

## **ГЛАВА ВОСЬМАЯ**

### **в которой крестоносец снимает три номера, голова на блюде подмигивает, а пьяница обламывается с пожеланиями**

Гостиница называлась «На полпути к...». Крестоносцу это понравилось. В самом деле: каждый мог выбрать для себя продолжение. И не так уж много путей остается, когда жизнь застигнет

тебя врасплах между небом и преисподней. Куда пойдешь? Где будешь искать приюта? Захочешь ли вернуться домой? А вдруг захочешь, но сможешь ли? И если большинству подобные вопросы глубоко безразличны, то это означает лишь одно: большинство и не живет, а только вяло плывет по течению, как объедки в сточной канаве.

Рассветная бледная немочь уже вползала на улицы. Крестоносец решил, что недолгая остановка ему не помешает. Даже неисправимые бродяги питают слабость к определенным местам. Но он не был бродягой. Он был странником, которому до поры отказано в покое, настоящем приюте и особом тепле домашнего очага. Нигде он не чувствовал себя дома. Он пока не заслужил возвращения домой, не знал нужной дороги и даже не видел указателя. Еще один повод задержаться в «На полпути к...».

То, что погибший крестоносец, его предшественник, ничего не сообщал об этой гостинице, показалось ему хорошим знаком. Он нередко ходил путями мертвых, но все же предпочитал пути живых. Когда он вошел, звякнул колокольчик над дверью, разбудивший ночного портье. Разглядев, какого постояльца принесла нелегкая, портье, конечно, не обрадовался и сделался чрезвычайно осторожным в словах и телодвижениях.

Крестоносец снял три номера на втором этаже — он никогда не экономил на безопасности. Получив ключи, он пересек вестибюль и заглянул в гостиничный бар. В полутемном помещении расположились двое — судя по всему, давно, всерьез и надолго. Бар выглядел как кают-компания на затонувшем корабле, в которой остались пассажиры, выяснившие, что могут недурно обходиться без воздуха — хватало бы выпивки. А ее хватало. Один из пьющих был в одежде священника, другой смахивал на опустившегося актера, хотя вполне сошел бы и за аптекаря или, например, архивариуса.

Крестоносец заметил и третьего, правда, пребывавшего в весьма усеченном виде. Среди бутылок, стаканов и свечей находилось бронзовое блюдо, а на нем лежала человеческая голова, которая фамильярно подмигнула новому постояльцу, как только их взгляды встретились, — очевидно для того, чтобы у него не возникло тени сомнения в том, что голова настоящая. И в каком-то смысле живая.

Она неплохо сохранилась и при свечах наверняка выглядела моложе лет на пятнадцать. Крестоносец мог сравнивать — ему доводилось видеть запущенные экземпляры. Кто-то ухаживал за ней с вниманием, умением и любовью. Расчесывал роскошные рыжие волосы, накладывал

помаду, тени и пудру. Только кто — священник или «актер»? Или оба сразу?.. Во всяком случае, эти сентиментальные выпивохи опасности не представляли. И до самой головы крестоносцу не было дела, покуда не нарушен Боунсвилльский Протокол.

Отражения дробились в бутылочных стеклах, жарко пылала медь. Священник налил по полной. Та, от которой осталась только голова, улыбнулась, показав отличные белые зубы. Определенно ей повезло с хозяином, если дело доходило даже до зубной щетки. «Красивая женщина... была», — отметил про себя крестоносец и стал подниматься по лестнице.

— Эй! — тихо окликнули его снизу.

Еще не обернувшись, он понял, кому принадлежит голос. Затем он посмотрел на «актера» с высоты двенадцати ступенек. Тот воздвигся посреди бара, будто на сцене, и слегка пошатывался. В глазах — декабрьское ненастье, в руке — рюмка, в глотке — произнесенный монолог. Крестоносец догадывался, что этот жалкий пропойца намеревался сделать: пожелать ему удачной охоты. И решился «актер» на такое лишь потому, что был сильно пьян.

— Ступай на место, — глухо бросил ему крестоносец. Будто отогнал от себя собаку.

Отчасти для того, чтобы не подвергать

опасности ее жизнь.

Спустя минуту он вошел в один из снятых номеров.

## **ГЛАВА ДЕВЯТАЯ**

### **в которой жизнь готовит подлянку, старушке страшно везет, а Ролло принимает волевое решение**

Проблемы возникли однажды под вечер. Денек выдался такой чудесный, что Ролло с утра было не по себе. Стояла прекрасная погода, светило ласковое солнце, нежно шелестели листочки на деревьях, птички распевали о прелестях бытия. Мягкий ветерок и послеполуденный свет наполняли воздух блаженством; невнятная надежда опьяняла, как вино; кое-кто почувствовал беспричинную радость; старички окончательно впали в детство.

В общем, жизнь протягивала руку для перемирия. Но Ролло ждал, когда другой рукой она врежет ему под дых. И жизнь не обманула его ожиданий. А то, что он не был расслаблен и не предавался сиюминутности, не имело значения. Жизнь предпочитала сильных противников. С такими ей было интереснее, чем с теми, кто падал после первого же удара.

Все началось с вопля. Вопль был отнюдь не

восторженным, хотя представление приближалось к кульминации: Каналь в полном смысле слова выходил сухим из воды, а именно из фонтана, бывшего посреди Площади Роз. Он медленно шел, разведя руки в стороны, — красивый, белый, чистый, как тот слащавый Иисус, которого малюет религиозный поп-арт, — и за ним не оставалось даже мокрых следов на сером асфальте. Ни единой капли. В этом был момент истины. Казалось, ангелоподобного создания не могли коснуться ни дожди, ни слезы, ни пот и кровь этого мира — и даже не могли поглотить его воды забвения...

Ролло прислушивался к наступившей тишине и мысленно гладил себя по головке. Очередной триумф. Его искусство завораживало даже самых неотесанных. Зрители замерли. Тут и раздался вопль. В нем слышалась истерика — кричало пошатнувшееся душевное здоровье, — и, хотя на лице Ролло не дрогнул ни один мускул, он попрощался со спокойным житьем-бытьем.

Нельзя сказать, что это так уж сильно его огорчило. Он заранее знал, к чему приведет оседлое существование. Скука стояла номером вторым в списке его личных врагов. Номером первым был, конечно, он сам. В конце концов, сколько еще могла продержаться его счастливая мещанская семейка? Год, два, десять? Ролло представил себе вдову через десять лет, когда ее ляжки станут



рыхлыми, волосы редкими, а глаза собачьими, — и ужаснулся.

Итак, некая старушка узнала «своего мальчика». Пораженная до глубины костлявой души, она истошно завопила и устремилась к фонтану, не поверив глазам, но по пути грохнулась в обморок. Ролло получил несколько минут форы, однако и не думал сворачивать декорации. Напротив, он с самым невозмутимым видом проследовал к журчащим струям, побрызгал обморочной старухе в лицо прохладной водичкой, затем изящным движением извлек из кармана ослепительной белизны платок и вытер пальцы. Заодно толпа смогла лишний раз убедиться, что вода в фонтане мокрая и денежки не потрачены напрасно.

Когда старушка пришла в себя и оправилась после первого потрясения, ее излияния сделались более осмысленными. Но Ролло был уверен в своем юном артисте, и артист его не подвел. Впрочем, наличие таланта в данном случае не имело значения. Мальчику оказалось в высшей степени наплевать на то, что какая-то выжившая из ума кляча признала в нем сына, отдавшего богу душу лет двадцать назад. В своем холодном безразличии Каналь был великолепен. Ролло он напоминал пробужденного вампира — существо человекообразное (каковым, собственно, Каналь и

являлся), но уже не от мира сего.

Спустя некоторое время Ролло, обладавший более чем развитым чутьем на драматические эффекты, счел, что душещипательная сцена исчерпана, мучительная для старушки пауза чересчур затянулась и пора подстегнуть действие. Проще всего было прикончить бабку, но — никаких смертей! Он с легким удивлением обнаружил, что новое правило вдруг оживило старую, как мир, и уже изрядно наскучившую игру, придало ей непривычные оттенки, пробудило в нем атавистический интерес к тому, что же будет дальше. Он не чувствовал себя обманутым, хотя остался без джокера посреди партии; проигрыш сделался вполне вероятным, зато цена победы возросла соответственно — и, самое главное, у победы появился вкус. Для Ролло, ненавидевшего пресное существование, последнее обстоятельство имело особое значение. Уже слишком долго он хлебал воду вместо вина, вдыхал запахок тления вместо ароматов цветущего сада, слушал брюзжание вместо хрустальной музыки сфер.

Так вот, даже усыпить старушку в целях снятия напряженности казалось ему дешевым приемом. Он, чье истинное запретное имя было подобно северному сиянию и пронзающим полог ночи падающим звездам (а жалкий эрзац «Ролло» все равно напоминал звучанием хрустальный шар, в

котором через мгновение рассеется загадочная мгла и проявятся призраки прошлого), он, в сущности монстр, скованный цепями пересаженной ему добродетели, — что он мог сделать со старухой?

Он спросил об этом свое сердце и не забыл осведомиться у своего чувства юмора. И получил ответ: все что угодно. Мог переселить в чертоги света, где тьма никогда не гостит под чужими сменяющимися светилами; мог показать дорогу туда, куда уводят обращенные друг к другу зеркала; мог дать ей покой под сводами старого собора. Все это было бы для старухи более или менее долгим сном, от которого она бы так и не пробудилась. Почему бы не сделать ее молодой, красивой и счастливой — для разнообразия? И вдобавок нормальной, насколько это возможно при трех вышеперечисленных условиях.

\* \* \*

В розовых сумерках он возвращал увядшей розе свежесть. Шли вспять годы и все пролившиеся дожди, и солнце забрало назад свои иссушающие лучи, и время отдернуло свои шаловливые ручонки. Новый рассвет имел зловещий аромат. Ролло было нелегко — так же нелегко, как заставить выжившего из ума старика вспомнить о свободе...

Много чего было записано кровью —

человеческой и нечеловеческой — в Боунсвилльском Протоколе; было в нем кое-что и о Масках.

\* \* \*

При виде красоты Ролло всегда испытывал возвышенную печаль — красота относилась к явлениям преходящим, скоротечным и обреченным. А если учесть, сколько красоток он проводил к дряхлости... Сейчас его охватила печаль художника, знающего, что всему сущему суждено исчезнуть без следа, а сами эфемерные создания как раз и заключают в себе квинтэссенцию невыразимого. Тем не менее он с удовлетворением взирал на свою маленькую невинную проделку, которая почему-то не казалась таковой его вечным оппонентам.

Даже в старом рваном платье, без украшений и косметики, девка была хороша на любой вкус, и Ролло справедливо полагал, что при ее красоте она вскоре без труда обзаведется всем необходимым для... Троекотие было замечательным знаком, вмещавшим то, что не поместилось бы ни в какую толстую книгу, ибо Ролло не знал ни одного из умных людей, кому не пришлось бы впоследствии пожалеть об исполнении заветных желаний. А тварь с телом девушки и душой старухи навсегда

останется в его памяти результатом холодного жеста, чем-то вроде иероглифа, начертанного смоченной в воде кистью.

Кроме того, это было, по всей видимости, последним представлением его балаганчика. Успех мог показаться полнейшим, если бы Ролло не разбирал смех при виде улюлюкающих и свистящих от восторга болванов. Особенно нелепо эта суэта выглядела на фоне предвечернего света, отчего-то вызывавшего в памяти мед, золото, янтарь... Существа, составлявшие Ролло и получившие временную свободу, были заняты своими делами или предавались самовыражению: шут ядовито хихикал, мафусаил провожал свой подходящий для смерти стотысячный день, ребенок удивлялся, женщина ревновала, странник напевал от радости, — пока тот, кто всегда скрывался за ними в тени, не опустил занавес. Разрывая контракт с отыгравшей труппой, обладатель мертвого голоса шепнул: «Мне пора».

## **ГЛАВА ДЕСЯТАЯ**

**в которой крестоносец прогуливается  
по берегу озера и все серьезно,  
кроме шуток, двух шуток**

Бездомность.

Крестonosец знал о ней побольше иного бродяги. Не потеря, а преодоление. Легко срубить дерево, гораздо труднее вырвать из земли корни.

Корабль без порта приписки, стоянка без якорей и причальных канатов. Соитие без любви, встреча без улыбки, уход без прощания.

Он ел из чужой посуды, спал в чужих постелях, когда не спал на земле. Он смотрел в чужие окна, входил в чужие двери, платил звонкой монетой за то, что другим доставалось почти бесплатно — всего лишь ценой жизни, принесенной в жертву на алтари сытости и довольства.

Он заперся в гостиничном номере и лег на кровать, не раздеваясь. Сизый свинец полз по его жилам.

Тяжесть.

Усталость.

Тьма.

\* \* \*

И были сны.

Они роились вокруг, несмотря на запертые двери и его готовность проснуться при малейшем шорохе. Назойливые, как мухи, неотвязные, как тень солнечным днем. И женщина, которую он потерял, звала его из черной ямы прошлого. Он тоже мог бы взять себе ее голову, но такие

«сувениры» не годятся для дальних странствий; такая любовь не для тех, кто не оглядывается назад. Он не оглядывался назад — наяву, однако своевольные сны уносили его туда, где было похоронено сердце, и верный неиздыхающий пес тоски выл над заброшенной могилой...

О жене он вспоминал реже — потому что не видел ее мертвой. Она была теперь в другом мире, но существовала мизерная вероятность того, что он найдет ее однажды, открыв одну из Дверей...

Сумеречной порой он шел через парк к озеру. Знал, что позади высится темный замок, в который ему так и не удалось попасть, — символ недоступных удовольствий и того, что навсегда останется неизвестным и непокоренным. Поначалу он слышал чей-то смех, несущийся вдогонку, — далекий, будто со звезд, — затем все стихло. Парк был серым и стылым — нечто, не имеющее ценности само по себе, просто визуальный аккомпанемент неизбежному пути вниз, где черная чечевица озера поджидала тех, кто не умел изменять свои сны. В бесплотном мире это было чревато всего лишь кошмаром — мимолетной бурей в мозгу, — но там, где двигалось подверженное боли мясо на костях, каждое странствие призрака оборачивалось предопределением.

И может быть, самое неприятное заключалось

как раз в том, что некоторые «странные вещи» перемещались из сновидений в реальность. Словно неодолимое суеверие перетаскивало их за собой; сны оказывались маяками на границах мира и небытия, в которое тем не менее каждую ночь отправлялись темные корабли с единственным живым существом на борту — корабли, уничтожаемые легчайшим подрагиванием век или прикосновением утреннего луча, но все равно снова и снова терпящие бедствие у неведомых берегов.

И у сильных, еще не старых, уверенных в себе, яростных мужчин появлялись вдруг скорбные складки у рта, и жизнь уже не вызывала ничего, кроме горькой улыбки, и сила их становилась беспощадной, потому что они не знали высокого милосердия и были не в состоянии помочь самим себе.

...Озеро. Берег, устланный то ли костями, то ли сучьями. Туман над жидкой колыбелью забвения. Здесь влажные ладони разглаживали морщинистые лица, а все, что было изъедено кислотой разочарования, прекращало дальнейший распад. Сгущаясь, туман оседал, иссыхал, осыпался, становился зыбучими песками времени. И над всем струилась неизбывная мука: невозможность постичь, принять, вынести то ожидание, что непрерывно вычиталось из суммы жизни, в конце концов обнуляя остаток...



До этого берега уже не доставала тень замка, которая черной стрелкой обегала циферблат, заключенный в круглую раму горизонта. Здесь крестоносец и стоял (даже в сновидении он осознавал, что стоял слишком долго, не в силах сдвинуться с места) — стоял по щиколотку в воде, вернее, в субстанции, которую невозможно осязать. Те редкие гости, что иногда навещали его в этих снах, — для всех без исключения первый раз был и последним, — погрузившись в нее полностью, становились очень молодыми и очень мертвыми. А вскоре умирали и наяву...

Озеро смерти. Он видел его снова и снова. И почему-то крестоносцу казалось, что на дне этого озера спрятана некая тайна. Извлеки ее на свет — и найдется объяснение всему: крестам на его щеках, слепой вере, лишенной надежды, и долгу, который гонит его из города в город навстречу пулям, ножам и кое-чему похуже смертоносного металла.

## **ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ** **в которой реквизит пугает до** **недержания, черная собака** **извиняется, а Ролло предается** **возвышенной поэзии**

Ролло повернулся, чтобы навсегда оставить

эту площадь, ангелоподобного мальчика, сдобную вдовушку и свою карьеру уличного мага. Какой-то торгош схватил его за рукав и, ухмыляясь, доверительно прошептал: «Старуха-то — в фургончике, верно? Видал я такие фокусы». Ролло пристально посмотрел в его блестящие птичьи глаза и сказал: «Приятель, тебя не проведешь. Ты выиграл приз». После этих слов он вручил торгошу ключи от фургона, подмигнул и предложил: «Посмотри сам».

Ему приходилось сдерживать рождавшиеся в мозгу зловещие фантазии, чтобы не выдать себя. Это было похоже на попытку заткнуть пальцем дыру в плотине, но до сих пор у него получалось. И неплохо получалось. Ад дрожал зыбким маревом на горизонте сознания, однако, чтобы уплотнить его до состояния реальности, требовалось либо жгучее желание Ролло, либо существо-приемник, вибрирующее с ним в унисон. Укрощать мозг он научился давно, как только понял, кто является истинным чудовищем, главным и непобедимым врагом, который когда-нибудь его прикончит. Но не сейчас. Не в этой кальпе. Ролло ощущал в себе достаточно сил для дальнейшей игры, которая могла наскучить разве что совсем уж дряхлому пережитку.

Ему не нужно было оборачиваться — он и так знал, что происходит у него за спиной. Он не

сделал зла. Он всего лишь позволил торгашу *увидеть*. Все было честно, не так ли? Знаток фокусов заглянул во мрак фургона, после чего прирос к мостовой. На его штанах стало расплываться мокрое пятно.

Ролло уже удалялся, сливаясь с тенями узкого переулка, ведущего в сторону квартала иных теней. Люди окружили фургон — серость жаждала красок, особенно если это цвета чужой крови и чужого позора. Мужчина, от которого дурно пахло, застыл с маской ужаса на лице. Другим пришлось отрывать от дверцы его изуродованные пальцы. Кто-то насильно отвел беднягу в сторону, и все любопытствующие могли сколь угодно долго рассматривать внутренности фургона. Оказалось, что там для них не было ничего интересного, а тем более пугающего: куча тряпья, какие-то камни, афиши давно минувших лет, пара кукол, компас (почему-то с двумя стрелками), чучело сумчатого зверя и большая лужа слизи на полу.

Но человек, заглянувший в фургончик Ролло первым, уже больше никогда не заговорил.

\* \* \*

Он брел по улицам Камня и чувствовал что-то вроде подкрадывающегося удушья. Причиной была далеко не сеть, затянутая умелой волей, а его

собственные мысли и ощущения. Ролло не понимал, как можно провести даже краткую человеческую жизнь в городе, который не стоит на берегу океана и с крыш которого не видны близкие горы. А если в нем к тому же нет зданий старинной архитектуры и картин старых мастеров, библиотеки сожжены, музеи убоги и только купцы довольны собой, то чем же тогда питать чуткую душу? Поневоле начинаешь задыхаться. Роешься в памяти, ищешь спасения и свежести, воображая то, чего лишен. И еще, пожалуй, остается небо. Облака, звезды, ветер. Сквозняки.

Это слишком похоже на пожизненное заключение. Более долгий срок — другое дело. Созерцание сменяющихся поколений хоть немного облегчает мучения. Все равно что сидеть в одиночке с плохим видом из окна. Наблюдать за тем, как стареют, болеют и умирают твои тюремщики, на смену им приходят молодые, а ты, благодаря простой пище, строгому режиму, отсутствию вредных привычек и нервных потрясений, сохранил здоровье и ясность рассудка, только, может быть, чересчур бледен, и потому редкие посетители, навещающие тебя в твоей башне разочарований и не брезгающие заходить в твою камеру, порой принимают тебя за мертвеца. Но ты живее их всех, хотя жизнь твоя спрятана глубоко, как в пережидающем зиму дереве. И пока

не придет некто с топором, чтобы срубить тебя под корень, ты тоже ждешь весны, которая, вероятно, никогда не наступит. Твое существование потенциально.

У Ролло было собственное деление суток: время поэтов, время убийц, время сомнамбул. И так далее. Изменчивое деление, потому что все эти периоды непрерывно смещались, некоторые выпадали, случались промежутки, которым сам Ролло не мог подобрать названия. Циферблат его внутренних часов свел бы с ума того, кто сумел бы подсмотреть за скольжением десятков стрелок, описывавших хронологию поистине сложного существа.

Наступило время поэтов, и Ролло шел, окутанный дымкой рифм, словно ароматом горящих листьев; сейчас в нем без всякого напряжения рождались стихи, слишком прекрасные для узилища памяти и прокрустова ложа земных языков. Это было как звездопад — метеорный поток пересекал его сознание, зыбкие образы вспыхивали и сгорали бесследно, озарения сменяли друг друга подобно череде стоп-кадров, хранящих иллюзию законченности гармоничных вселенных. И врагами этого волшебства были Время и Энтропия — две головы одного дракона. Сейчас дракон спал. В хрустальной ясности застыли мгновения Истинного Бытия, равноценные годам

заточения, изгнания, ссылки или простой скуки.

Ролло удалился от людей. Вокруг, как незримый бархатный снег, падала тишина. Каменные стены служили перегородками в раковине огромной улитки, растущей в течение столетий. Это был лабиринт, наполненный пороком и страхом перед будущим. Всякий раз, воспарив, Ролло неминуемо должен был возвращаться. Сейчас Камень всей своей тяжестью увлекал его на дно. Да и плоть напоминала о вульгарных потребностях усиливающимися позовами.

Ролло вошел в полуразрушенный дом с горгульями, выбрал не слишком загаженное местечко под проваленной крышей и облегчился. В дыре над собой он увидел первые звезды, и казалось, это они говорили с ним, а не старые стены. Между тем назойливый шепот принадлежал бывшим обитателям дома. Никто из них не хотел смириться со своим бесследным исчезновением. Ролло услышал кое-что о пролитой крови и зарытом сокровище. Ему это было неинтересно. Там, откуда его вышвырнули, он всему узнал истинную цену. И больше уже не свершал детских ошибок, роясь во прахе и мусоре.

Но его поджидало новое искушение: все происходящее казалось очередным сном. Попадая из одного сна в другой, он, возможно, избегал кошмаров, из которых самый худший —

пробуждение. Оно означало конец всем странствиям, возврат к темному пятну глазного дна, катастрофическое сжатие звезды по имени Ролло и превращение ее в черную дыру.

Жить так, будто это всего лишь сон, было удобно, и Ролло не собирался отказываться от полезной привычки. Во сне он совершал то, чего, вероятно, не мог бы позволить себе наяву.

Выбравшись наружу, он наткнулся на внезапно материализовавшуюся перед ним черную собаку. Та взвизгнула и отскочила. Злобно глядя на Ролло, собака проворчала:

— Сон другой, дерьмо все то же.

— Ты промахнулась. Тебе на два переулка правее, — сказал Ролло.

— Тогда извини, — сказала собака и исчезла, прихватив с собой запах псины и поднятую пыль.

## **ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ** **в которой женский голос зовет на** **помощь, женоненавистник всегда** **может найти понимание, а доброе** **намерение не остается** **безнаказанным**

Крестоносец любил солнце, но ненавидел день как пору суток. Он был ночным зверем и

предпочитал темноту не потому что становился уязвимым при ярком свете, а потому что ночью души впадали в оцепенение и каждый человек отделялся от толпы себе подобных, оставался один на один с миром. День был, как правило, временем лжи. Ночь была временем истины. И даже грех, совершаемый ночью, приобретал больший вес на внутренних весах. Нужно было совсем немного тьмы, чтобы обыкновенные человеческие глаза перестали видеть. Требовалась лишь малая толика зла, чтобы закрасить чернотой завтрашний рассвет и чтобы жизнь показалась адом. Пословицу «утро вечера мудренее» придумали те, кто бежал от ловушек ночи, либо впадая в спячку, либо дрожа в объятиях страха до восхода солнца — пока первые лучи не возвещали о появлении Великого Утешителя...

Полюбовавшись восходом, крестоносец задернул шторы и перешел в номер, окна которого смотрели на север. Здесь он создал себе искусственную ночь — и даже звезды плыли по своим вечным путям, искаженным пересекающимися плоскостями стен и потолка. При свечах он предавался размышлениям и общался с Книгой, Загадкой Востока, выстраивая шесть ступеней судьбы — из прошлого в будущее, по нисходящей или восходящей, — и все для того, чтобы прикоснуться к неразрушимому ядру тайны,



ощутить горечь и вдохновение одновременно, услышать зов запредельности и шелест крыльев запретной мечты, стаи невидимых птиц, уносящихся словно несбыточные желания. И это тоже относилось к «странным вещам». Ведь есть желания, которые и не должны исполняться; есть то, что надо гнать от себя, иначе будет незачем жить.

Но только святые преодолевают все искушения.

\* \* \*

Это был бы хороший день, если бы он хорошо закончился. День, проведенный в полумраке, день благословенного одиночества, нарушенного лишь в самом конце. Темный прилив уже надвигался с востока, и чтобы узнать об этом, крестоносцу не нужны были часы. Он готовился выйти на улицы Камня, когда услышал крик. Женщина звала на помощь.

У него свело скулы от пошлости ситуации. Два ключевых слова: «женщина» и «помощь». Двойная ловушка. Мало ли тех, кому он помог или кого спас от верной смерти, предавали его и плевали ему вслед? Были и такие, что еще долго высасывали из него кровь, считая, что им теперь принадлежит его время, его сострадание и его

покровительство. Но мужчин можно было образумить, одолеть в поединке, отшвырнуть в сторону — в конце концов, они редко оставляли след в памяти. А женщина — это всегда ловушка, вне зависимости от того, кто она: девочка, едва осознавшая, кого видит в зеркале, обольстительная стерва или элегантная старуха, повсюду таскающая черепа своих бывших любовников.

Даже мысли о женщинах загрязняли, становились отравой, если позволить себе думать о них слишком долго. Тогда неизбежно обнаруживалась дурацкая сопричастность к сонму обманутых, унижительная принадлежность к неисчислимой толпе самцов, которые всегда могут найти нечто общее, излить друг другу былые обиды, выдавая в пьяненьком нытье незабываемые унижения, непоправимые ошибки и неизлечимую тоску.

Крестоносец почти ненавидел себя за то, что не мог вытравить из памяти абзац из старой книги, который уже десяток лет помнил дословно:

«У этих тварей весы вместо сердца, на которых они непрерывно взвешивают свою благосклонность к нам. Вначале они приманивают и приручают нас, а затем хотят, чтобы мы ходили на задних лапках, далеко не всегда получая за это желанное лакомство. И чаще у них в ладонях камни вместо сахара. Они не ведают бескорыстия. На

другой чаше весов обязательно должно лежать что-либо: наши жизни, наша боль, одержимость ими, унижающая нас ревность, на худой конец — наши деньги. Даже самые лучшие из женщин были проститутками, самые худшие — просто дешевыми кокотками. Но терзать жертв все они умели не хуже палачей и обходились слишком дорого — неизмеримо дороже своей истинной цены».

Книгу он нашел в заброшенной библиотеке, где однажды пришлось остановиться на ночь. Долго не мог заснуть, тогда он еще не продвинулся в медитации. Читиво взял наугад — чем скучнее окажется, тем лучше, — думая, что оно послужит лекарством от бессонницы, но заполучил легкое отравление на всю оставшуюся жизнь. В той книжонке, среди массы пустопорожних словес, были и те, что впились в него рыболовными крючками и с тех пор тащились за ним сквозь темноту, как он ни пытался их выдернуть. Никуда не денешься — время от времени он получал очередное печальное подтверждение их истинности. Ему доводилось видеть, как сильные мужчины, закаленные в жестоких боях, без малейшего трепета выходившие в одиночку против целой банды и смеявшиеся над кознями дьявола, превращались в жалких страдающих марионеток, словно скользкие безмозглые самки одним взглядом вынимали из них позвоночник.